ПРОЖЕКТОР

№ 28 (198). 14 июля 1929 года. № 28 (198).

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ.



А. П. Чехов с сестрой и братом.



А. Дерман.

РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ ЧЕХОВА.

Психологию Чехова в последние годы его жизни будет ближе всего назвать революционной. Она была революционной потому, что ее питало сознание неизбежности и необходимости быстрого и крутого обновления форм общественной жизни, в свою очередь опиравшееся на живое чувство протеста против социальной несправедливости, которою была проникнута сверху до низу вся русская жизнь. И с этой точки зрения является более или менее безразличным, в какой мере разбирался Чехов теоретических течениях различных социалистических направлений, в партийных программах и т. д. Дело не в этом, а в том, что, как художник, он почувствовал неизбежность и благотворность революционного

переворота, и отразил это в своем творчестве с полной опре-

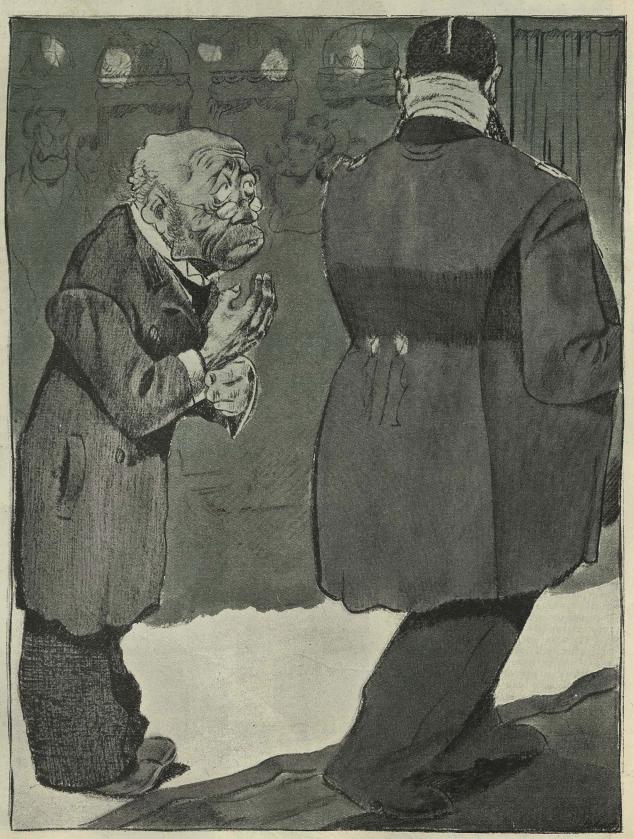
деленностью.

Сначала это проявлялось лишь как характерное, предгрозовое чувство: «больше так жить невозможно». Уже такие рассказы, как «Учитель словесности», написанный еще в 1894 г., насыщены этим настроением: живет человек самым благополучным образом, любит жену и любим ею, дает уроки, получает жалованье, пользуется завидным здоровьем, слушает музыку, читает хорошие книжки и вдруг, именно вдруг, и именно ото всего этого, спокойного и безмя-тежного благополучия — приходит в состояние нравственного ужаса, словно сама смерть подошла к нему в этом образе сытой и пошлой удовлетворенности, — и вот он записывает у себя в дневнике: «Где я, боже мой! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... ничего страшнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с

ума!». Это беспредметное стремление героев Чехова вырваться из оков пошлой жизни постепенно оформлялось и выкристаллизовалось уже в нечто и по форме своей революционное: в стремлении «перевернуть жизнь». «Главное, — говорит герой одного из последних рассказов Чехова «Невеста», — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно». «Перескочить через ров», «построить мост», «перевернуть жизнь», все это лишь различные выражения одного и того же революционного чувства, — жажды крутой ломки жизни, резкого и глубокого обновления косных общественных форм.

Но и это не все. Не подлежит сомнению, что если бы в произведениях Чехова последних годов и отсутствовала та или иная из приведенных выше фраз, если бы даже их вовсе не было, дело от этого нисколько бы не менялось по существу, творчество Чехова в этот период было бы по характеру своему именно революционным. Ибо вопрос этот разрешается в ту или иную сторону не тем или иным количеством революционных тержинов и фраз. Если бы революционность художника устанавливалась в зависимости от того, употреблял ли он в своих произведениях, и именно сколько раз, революционные термины и слова, то задача исследователя была бы чересчур уж легка, я сказал бы — легка до глупости: она свелась бы к арифметическому подсчету. И слишком легким становилось бы завоевание самого титула революционного художника.

Вопрос должен быть поставлен глубже и сложнее. Классификация художников по признаку революционности или консерватизма должна быть произведена не на основе отдельных цитат, которые можно у них выудить, а исходя из той атмосферы, которой дышит читатель их произведений, тех эмоций, которыми они его заражают. Когда на торжественном спектакле Московского Художественного театра по случаю его тридцатилетия отвыкшая от чеховских пьес публика услышала слова барона Тузенбаха из «Трех сестер»: «Пришло время, надвигается на всех нас



Ю, ГАНФ.

Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова «Смерть чиновника».

в молодые годы.



А. П. Чехов (стоит) со своим братом Николаем (снимок 1883 года).

громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую ску», — то, по словам газетных отчетов, точно электрический ток пробежал по зрительному залу. И многие с удивлением спрашивали себя: как это чеховский «нытик» нашел такой свежий, такой яркий, такой подлинно-революционный тон, глубоко волнующий и подымающий даже нас, переживших две могучих революции!

Но ведь ни малейшему сомнению не подлежит, что эти несколько слов не в силах внести мало-мальски значительное изменение в общий характер, в общий смысл пьесы, и если «Три сестры» взволновали публику юбилейного спектакля, то не благодаря этим лишь словам. Все дело в том, что Чехов волнует, что волнует он глубоко и благотворно, а слова Тузенбаха дают лишь исход этому волнению.

Основная классификационным признаком революционности писателя и является характер того волнения, которое он сообщает читателю. Есть писатели, и даже огромного таланта (например, Гончаров, Лесков), которые оставляют в своих читателях нечто в роде чувства духовной сытости. И есть другие, которые рождают духовный голод. Пер-

выс, - в каком бы виде они ни изображали революционеров и реакционеров, пусть последние будут все злодеи, а революционеры — насквозь добродетельны и безупречны, суть писатели консервативные, если не ретроградные, ибо они успокаивают читателя, они притупляют в нем чувство возмущения против косности жизни. И подлиннореволюционными являются те писатели, которые возбуждают духовный голод в своих читателях, хотя бы изображали они не революционеров, а учителей словесности, баронов Тузенбухов и Душечек, потому что они обостряют нашу ненависть к обветшалым формам жизни, вооружают против косности, в чем бы она ни проявлялась. И в этом смысле я затрудняюсь назвать у нас писателя более революционного, чем Чехов. Никто не нанес косной, мещанской, пошлой, обывательской жизни таких смертельных ударов, таких ядовитых, не закрывающихся ран, как именно он своими «милыми», невинными, ласкающими, то смешными, то грустными рассказами. Не «липовым чаем» напоил он российского обывателя, как это казалось одному критику (Д. В. Философову), а отравой. И сделал он это с такой неотразимой простотой, так, сказал бы я, незаметно, что отраву эту пили с наслаждением даже те, кого она убивала. Вспомните его удивительные слова из письма к Суворину: «все исцеляющая природа, убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать».

Вот точно так же поступил Чехов и с обывателем. Он искусно обманул его и унес из «гостиной», из мира самодовольной, сытой, безмятежной пошлости, но унес не спать, а напротив — к пробуждению сознания своего ничтожества.

Конечно, Чехов не убил его навсегда, да сбыватель и не в одном чеховском поколении свил себе гнездо, его не мало и сейчас.

Но об'ективно «пошляк», «мещанин» и «обыватель» до Чехова и после Чехова — уже различны: они разоблачены, с них сняты обманчивые покровы невинности, и теперь пошляка легче узнать в толпе, — этому научил Чехов.

Да и сам обыватель уже не так безмятежен и как-то смущенно пожимается, глядясь на себя в зеркало чеховских героев.

Вот почему так странно бывает слышать еще и теперь раздающиеся голоса о разлагающем влиянии тоски, разлитой в рассказах Чехова, — кого и что она разлагает? Она разлагает самого опасного врага жизни: духовную сытость!

Современники Чехова хорошо помнят, кто брюзжал на него и кто им восторгался. Брюзжала застойная мещанская Россия и восторгалась Россия молодая, жаждавшая сбросить с себя оцепенение 80-х годов. С каким чувством уходили мы из театра, где ставились чеховские пьесы? С тем чувством, которое выше было формулировано: «дальше так жить невозможно».

Тоска, которую уносил с собою зритель из чеховского театра, была творческая, живительная, подлиннореволюционная тоска. И кто знает, скольким внушила она мысль и скольких укрепила в решении: перевернуть жизнь.



Дом в Таганроге, где родился А. П. Чехов.